

# ДОЕХАВШИИ

Заметки о писателе, выросшем в сумерках империи

*Возв. кн. - 1999. - 11 сент. - с. 11.*

Недавно на одной литературной тусовке, где молодые дарования отчего-то обсуждали не то, как им хочется сочинять, а то, как осуществлять взаимный промоушен, кто-то упомянул Пелевина как символ писательского успеха.

— Ну да, — вздохнул один мальчик, — его вон как раскручивают...

И все углубились в разговор о том, какое чмо Пелевин и как его все раскручивают. "Вагриус" в особенности. Вон трехтомник издали. В Японии перевели. И вообще.

Я все это читал и слышал столько раз, что, право, ленюсь воспроизводить. Набросившись на Пелевина как на новое и свежее блюдо, толпа литературных критиков довольно-таки поспешно его отрыгнула, отторгла, поняв, что этот автор в их игры играть не будет. За премиями Пелевин не гоняется, литературных мероприятий не посещает, статей в духе Олега Павлова о своем величии не пишет и чужих о своем ничтожестве — не читает.

В Бице поклонники Виктора Пелевина упражнялись в изготовлении иллюстраций к его "Generation "II" — огромных мухоморов



Фото Виктории НОВИКОВОЙ ("Сегодня")

Вообще отзываться о Пелевине пренебрежительно постепенно становится таким же хорошим тоном, как когда-то — млеть от него. Похоже, даже самые объективные и остроумные российские литераторы, готовые простить коллеге элитарность, снобизм, стервозный нрав и элементарное неумение писать, — оказываются недостаточно велико-

душны, чтобы простить успех.

А Пелевин его, простите за выражение, имеет. И книги его продолжают расходиться вне зависимости от наличия или отсутствия промоушена. Когда повесть двадцатилетнего студента Литинститута (кстати, уже выпускника технического вуза) "Затворник и Шестипалый" впервые стала распространять-

ся в машинописи, — никто этого студента еще не раскручивал. Но было ясно как день, что в литературу пришел очень быстро соображающий, остроумный, трезвый и притом немного сентиментальный автор, высоко ценящий такие подзабытые вещи, как ирония, гуманизм и душевное здоровье.

Пелевин очень много читал. Он

своевременно изучил своего рода парольный минимум стандартного интеллигентно-технократа (впрочем, гуманитарии читали то же). В шестидесятые моден был Хемингуэй, для умных — Томас Манн; в семидесятые — эзотерика вроде Баха и Кастанеды, Гессе, Борхес с Кортасаром, Кобо Абэ для большинства и Оз Кендзабуро для самых передовых. В ше-

стидесятые бравировали демонизмом, в семидесятые — цинизмом. Этой настойки Пелевин основательно хлебнул и проникся ненавистью ко всем, кто корчит из себя обладающих истиной в последней инстанции.

Я весьма далек от мысли, что Пелевин — идеал современного писателя. Такого идеала, я полагаю, не может быть вообще (или их миллион — столько-то читателей в России еще осталось), но проза Пелевина могла быть повкусней, попластичней, что ли. Она не свободна от всех родимых пятен и родовых травм поколения: тут тебе и умерительность, и некоторая клишированность авторской речи, и однообразие приемов, и суховатый рационализм в ущерб иррациональному, стихийному чувству живой жизни. Но со всем тем я от души солидаризируюсь с Еленой Иваницкой, которая раньше других увидела в Пелевине не скейтика и не циника, а строгого и требовательного моралиста, который ничуть не стесняется своей старомодности.

Буддизм, который Пелевину так усердно шьют, оказывается в конечном итоге ни при чем. А вот почти лучшее отношение к христианству, заявленное еще в ранних эссе нашего автора, очень даже при чем. В последнем романе Пелевин мучительно пытается разобраться: если на восьмом этаже делают тех, кто работает на седьмом, а на седьмом — обитателей восьмого, то на что же все опирается? Герою не приходит в голову элементарный вывод, давно известный автору: опирается все на человека, потому что любые его попытки искать точку опоры вне себя приводят к насилию, к террору и великому кровопролитию. "Человек задуман прекрасным" — в этих словах, которые произносит в романе стражник неведомого мира, нет никакой высокопарности. Пелевин и вправду так думает. Не в силу застенчивости, а в силу элементарного целомудрия он не кричит о своих пристрастиях, но все его любимые герои исповедуют весьма старомодные и общеизвестные принципы. Преимущество Пелевина только в том, что, во-первых, он об этих простых принципах не боится напоминать, а во-вторых, с некоторым опережением называет вещи своими именами. Мы еще только доезжаем, а он уже доехал. Слово "постиг" вызывает у него понятную иронию — равно как и слово "осознал". Не зря именно эти слова вынесены в название томов его нового трехтомника, включающего главным образом хорошо известные вещи.

Кстати, в одном из старых рассказов Пелевина проникнувшиеся, постигшие и осознавшие начинали просто орать, беспрерывно и отчаянно, — их помешали в специальные пробковые камеры. В общем, лирический герой Пелевина только и делает, что орет, и душа его рыдает и трепещет,

как душа мальчика в "Синем фонаре" — нежнейшем рассказе о пионерлагере. Потом, конечно, этот мальчик привыкает жить в той клетке, которая в конечном итоге называется жизнью. Он приобретает ряд полезных навыков, приучается орать вполголоса и обходиться без иллюзий. Но в первое время он знает себе воет, и именно этот вой слышен в рассказах Пелевина ранней поры — в потрясающем жизнеописании сарая, где раньше хранились легкие велосипеды, а потом тяжелые и склизкие бочки с огурцами; в "Онтологии детства", в "Водонапорной башне".

Пелевин воспитан сумерками империи — волшебным временем, когда, как в серебряном веке, многое приоткрывалось и многое казалось возможным. Потом империя сдохла, и с нею сдохла атмосфера тайны, окутывавшая ее последние дни. Все читали эзотерические тексты, вели полузапретные разговоры и даже вертели столы, как свидетельствует один из пелевинских предшественников Юрий Трифонов. Я по своему детству (а оно у нас было похожее, я младше Пелевина всего на пять лет) отлично помню ощущение сладкой тоски, которое владело тогдашними детьми на закате. Пелевин — поэт этой тоски, вечный мальчик, вечно глядящий из окна блочного дома на то, как гаснут закатные отблески и зажигаются первые лампы в окнах неотличимого, но знакомого в мельчайших деталях дома напротив. Пейзаж Пелевина — бетонные стены со всеми их выпуклостями и трещинками, стадион, на котором вечно бегают пузатые мужики и чахлые дети в трениках, и пивной ларек с очередью, состоящей примерно из того же контингента. Пелевин — поэт той невыносимой грусти, которая наступает в пионерлагере, казарме или больнице при наступлении сумерек. Грусть эта диктуется не только замкнутостью окружающего пространства, но и ощущением какой-то огромной и прекрасной жизни за его стенами. Сейчас это ощущение — вместе с большинством иллюзий — надолго, если не навсегда, исчезло, и никакому новому тоталитаризму не под силу будет его вернуть. Пелевин рожден был, чтобы зафиксировать трепет человеческого существа, догадавшегося о наличии у всех предметов двойного дна, — и жгучее разочарование этого же существа, понявшего, что весь мир был и остается только системой клеток, встроенных друг в друга. Именно так чувствовал и мыслил сколько-нибудь сообразительный человек в конце восьмидесятых годов, а Пелевин все это понял чуть раньше и сформулировал чуть изящнее. А состояние это было — конец детства, и так-то не очень радостного; переход из уютного имперского и школьного ада в серое и холодное чистилище полуправды и полусвободы; переходный возраст, растянувшийся на всю оставшуюся жизнь.

Дмитрий БЫКОВ

84